Автор: Краснова А. (Россия)

Во время моей учебы в институте мне довелось проходить практику в лицее. Так как это была так называемая педагогическая практика студента-психолога, то требования к ней были совершенно конкретные, и одно из них — проведение тестирования среди учащихся. Признаюсь честно, долго я не думала и подобрала ряд методик для тестирования учеников одиннадцатых классов, среди которых была методика на выявление уровня самооценки. Методику, как и полагается прилежному студенту, я взяла из Психологического практикума, т.е. надежную и проверенную, как мне показалось. И вот настал тот всеми страстно ожидаемый момент, когда я вошла в класс для раздачи моим одиннадцатиклассникам результатов их тестов. И что тут началось! На меня обрушилась куча протестов и удивленных возгласов: «Неправда! Моя самооценка не завышена!», «А почему это у меня заниженная самооценка?». Я, конечно, с умным видом ответила, что хотя тест и не истина в последней инстанции, все же как отвечали на вопросы теста, то и получили; но ребята дружно сочли, что все это ерунда. Позже отчеты для руководства лицея и для руководителя практикой были благополучно мной сданы, но не забыты. Этот случай с методикой на определение уровня самооценки никак не выходил из головы. Сначала я грешила на саму методику, потом меня стали одолевать большие сомнения на правомерность психодиагностики в целом. В итоге я просто отказалась от использования психодиагностических методик. Но пресловутая проблема самооценки продолжала появляться в моей жизни, теперь через моих клиентов. Случаи, когда клиенты обращались с запросом повысить самооценку или обрести уверенность в себе (что, в общем-то, из той же оперы), не единичны в моей практике. И нередко даже в ходе работы с другими проблемами клиента вдруг выплывала фраза: «Ой, это, наверное, из-за моей низкой самооценки...»

Признаться честно, на определенном этапе эта тема просто ставила меня в тупик. Что же это такое вообще — самооценка, уверенность в себе — и с чем ее, как говорится, едят? Однажды, не могу вспомнить, в какой конкретно книге, я натолкнулась на любопытную фразу, которая звучала приблизительно так: для человека совершенно бессмысленно оценивать самого себя, так как он в принципе не в состоянии охватить разумом всю глубину собственной личности, кроме того бесконечно меняющейся в

обстоятельствах жизни. Это показалось мне очень близким к тому, что я и сама подозревала, получая свой собственный жизненный опыт и обсуждая со своими клиентами их жизнь. В человеке так много всего и сразу, что он не способен охватить самого себя. Человек изнутри самого себя не может сам себя увидеть — об этом говорит даже логика самой природы, ибо мы не можем обозреть даже собственное тело в его целостности без посторонней помощи — только через отражение, которое все равно недостаточно и дает определенную долю искажений. Человек может проявиться в чем-то или в ком-то, но сам по себе, некоей вещью-в-себе, он никогда не бывает — это уже картинка человека, а не человек, в сущности. Другими словами, бывает, конечно, что человек оценивает сам себя, но самооценка при этом обслуживает что-то в жизни человека, служит чему-то, а не существует сама по себе.

Могу сказать, что мне повезло по жизни — я познакомилась с творчеством Альбера Камю, французского писателя и философа. Он глубоко тронул мое сердце своими произведениями, и самой своей личностью, и своей судьбой. Он писал о многих важных для меня вещах, среди которых, хотя и не впрямую, и тема самооценки как мнения человека о самом себе. В его размышлениях я нашла для себя ответ, который оказался мне близок: «Ни один человек не в силах сказать, что он собой представляет. Но случается, что он может сказать, чего он собой не представляет. От того, кто еще в поиске, требуют, чтоб он сделал конечный вывод. Тысячи голосов ему объявляют, к чему он пришел, однако он знает, что это совсем не то. Продолжайте искать — и пусть они говорят, что угодно. Все это так. Но порой нужно и защищаться. Я не знаю в точности, чего ищу, я осторожно это формулирую, потом отрекаюсь, повторяюсь, иду вперед и отступаю вспять. Однако мне приказывают дать всему окончательные имена. Тогда я упорствую: разве то, что названо, уже не потеряно?»

В моей собственной жизни происходили события, которые показывали мне, как сильно я ошибалась насчет себя. Случалось и так, что я не могла в точности сказать, что именно я собой представляю, и даже то, что я собой не представляю. В определенные моменты я не могла сказать, что я могу ожидать от себя. Жизнь научила меня быть осторожнее с определениями самой себя, ведь то, кем я себя называю с определенной долей уверенности, может быть потеряно в этот же момент. Я учусь не обольщаться насчет себя, и для меня это уже большое открытие.

С тех пор как я окончательно перестала верить в байки классической и обывательской психологии об адекватной самооценке, да и самооценке вообще, я перестала быть легковерной в работе с клиентами. Я заметила интересную вещь: за клиентскими запросами о поднятии самооценки и уверенности в себе скрываются совсем другие вещи. Уверенность нужна для чего-то, а не сама по себе. Т.е. разговоры о самооценке — как ширма, которая прикрывает что-то важное. Здесь мы подходим к очень важной теме — теме самообмана, теме прикрытия чего-то важного чем-то второстепенным и, в сущности, не важным.

В консультировании мы это можем увидеть, когда клиент долго, часто тщательно и в деталях о чем-то рассказывает, вроде бы важном, но в душе возникает стойкое ощущение пустоты и бессмысленности этого разговора, часто начинается блуждание по кругу, в рассказе возникают противоречия, и клиент сам заходит в тупик, стоит терапевту начать более или менее настойчиво задавать вопросы. Заниженная самооценка и неуверенность в себе — это очень распространенная среди клиентов ширма, которая скрывает по-настоящему болезненные темы, которые сам человек предпочитает не видеть. Ему только кажется, что он страдает от неуверенности в себе, а за этим стоит что-то большее, в чем он сам себе, скорее всего, не признается.

Такой ширмой могут быть не только темы неуверенности в себе и заниженной самооценки. Таким прикрытием могут быть еще и различные теории, которые человек провозглашает как собственные убеждения. А между тем часто бывает, что их назначение — прикрытие и бегство от чего-то неудобного или болезненного. В конечном итоге — бегство от правды и от самого себя.

Понять все это мне помогли Лев Николаевич Толстой и Альбер Камю, их произведения. У Толстого это «Крейцерова соната», а у Камю — «Падение». В данной статье я хотела бы поделиться моими размышлениями о героях этих произведений. Они разные, в разных жизненных обстоятельствах, но у них просматривается единая тема — самообман, осуществляемый с помощью различных теорий, «дымовых завес» (обличительные речи, объяснительные конструкции, анализ общества или чего-то другого и т.д.) — тонких психологических игр, за которыми скрывается важное и болезненное, к чему не хочется прикасаться и осмысливать, что требует раскаяния и душевной работы, от чего хочется убежать и закрыться, но что внутри болит и не дает покоя.

Герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев — человек, которого рассказчик случайно встречает в вагоне поезда, — поверяет рассказчику историю своей жизни. А главным образом — как он пришел к тому, что убил свою жену. Этот рассказ построен удивительным образом — Позднышев рассказывает о своей жизни, начиная со своей юности и до настоящего момента, переплетая свой рассказ с теми теориями и рассуждениями, какие возникли у него исходя из полученного им жизненного опыта. Он утверждает, что в тюрьме в ожидании суда с ним произошел нравственный переворот, когда он понял, как порочно устроено общество, которое своей порочностью и привело его к убийству жены. Т.е. его теория устройства современного общества имеет одно важное назначение — прикрыть собой то, что он на самом деле не виноват в своем поступке, что к совершению убийства его привели обстоятельства жизни. Это похоже на «дымовую завесу», скрывающую нераскаянность Позднышева в убийстве. Одной из центральных идей его размышлений оказывается сексуальная невоздержанность, которая присуща современному обществу и которая является, по сути, виновником всех несчастливых браков. Он рассказывает о себе, как в возрасте пятнадцати лет он начал половое общение с женщинами, причем говорит об этом так, что ему внушили, будто это хорошо, а вовсе не он сам так решил — т.е., по его словам, он явился жертвой развращенного общества: «Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении ut в условных предложениях».

Т.е. Позднышеву будто никто не говорил о том, что разврат — это плохо. Сам

признается, что говорили, но ему это было менее важно знать, чем французскую грамматику. За этим лукавством (то никто не говорил, то нет, все-таки говорили) мы можем увидеть нежелание признавать Позднышевым того, что он был предупрежден знанием заповеди, что разврат есть пагубная страсть, но он не захотел послушать этого. В этом лукавстве — избегание ответственности. И далее он рассказывает, как встретил свою жену, — выдвигает целую теорию об узаконенной торговле невестами, о том, как в обществе ведется тонкая игра по ловле женихов в чувственные сети и т.д. Но вот нам попадается фраза, которая открывает нам то, что в душе Позднышева скрывается за этими теориями: «Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т.п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, — а то он случайно прикрылся как-то на это время, — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было». Снова виноваты портнихи, сама жена, что не сидела дома, клапан, который по несчастью случайно вдруг оказался прикрыт. В том, что он влюбился, снова виноваты другие. Даже в том, что он не работал, при этом поглощая пищу с избытком, Позднышев вроде как не очень относит на свой счет: с одной стороны, будто винит этот свой неправильный образ жизни в том, до чего он в итоге дошел, но постоянно обращает внимание на то, что так жили все в том развратном обществе, в котором он жил, и научили его, несчастного, так жить. Снова избегание ответственности, которое не осознается им.

Далее, Позднышев подробно рассказывает своему собеседнику о тех отношениях, которые складывались между ним и его женой. А портиться они начали практически сразу после свадьбы. И снова мы наблюдаем интересные теории: «Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физиче-ских излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но и о ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее». Удивительно, что такое потребительское отношение к жене снова объясняется Позднышевым теорией сексуальной невоздержанности, а вовсе не его собственным эгоизмом. Он жалеет женщин, которые должны быть одновременно и беременными, и кормилицами, и любовницами; винит во всем докторов, которые проповедуют необходимость сексуальной жизни для здоровья мужчины, но в итоге — снова виновато общество с его противоестественным образом жизни.

Позднышев рассказывает, что их отношения с женой превратились в постоянную борьбу друг с другом: «Мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не мог». И снова в этой части рассказа не видно раскаяния, признания своего эгоизма и огромной величины гордо-сти. Разговоры типа «о, какой же я был дурак!» встречаются только в те моменты, когда Позднышев рассказывает о невероятном разврате, царящем в обществе, которое всем будто бы навязывает этот разврат и жертвой которого он сам стал.

При этом рождение детей не только не улучшило ситуацию в семье, но и усугубило ее: «Дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми». При этом Позднышев понимает, что больше всего страдали в этой ситуации сами дети, но тем не менее он снова ничего не говорит о своем раскаянии перед детьми. Более того, за него говорят его поступки — в этом самом поезде, где он рассказывает свою историю рассказчику, он едет на юг жить. А его дети остались у его свояченицы, у сестры убитой жены. Говорит, что отдал состояние детям, но самих детей ему не отдали, так как он «вроде сумасшедшего». А с другой стороны, тут же говорит, что он развалина, калека, не в состоянии их воспитать, да и вообще: «Я ничего не могу для них сделать». Не может или не хочет? Детей ему не отдадут или он их сам не возьмет? Позднышев вроде как с сожалением говорит, что растут дети такими же дикарями, как и все вокруг них (имея в виду ненавистное ему развратное общество). Но сам он что сделал, чтобы это изменить? Ничего. Лукавство этого героя снова говорит нам о том, что все это просто оправдания его нежелания заниматься воспитанием детей, оправдания того, что он просто бросил их на свою родственницу, так как дети как были, так и остались для него просто обузой, нежелательным побочным эффектом семейной жизни. «Дети — мученье, и больше ничего».

Любопытно, как Позднышев описывает ссоры, которые случались в его семейной жизни. Они всегда «с ним» случаются, «вдруг» — и он даже знает, что назревает ссора, и не может ее остановить, злоба захватывает его, и он говорит ужасные грубости и сам удивляется самому себе, как у него могли выскочить такие слова... И при этом он говорит: «Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или

распутничать, или разойтись, или убить самих себя, или своих жен, как я сделал». Я выделила два слова — «все» и «должны». Удивительно, что Позднышеву не пришло в голову налаживать семейные отношения. При этом он обобщает свой опыт и решает, что деструктивные варианты решения проблемы семейного несчастья — будто бы всеобщая участь. Таким образом, очень тонко им оправдывается его собственный поступок: «любой на моем месте поступил бы так же». А раз так, раз это всеобщий крест, то вроде как он и не так уж виноват, он же не мог в этой тяжелой ситуации поступить иначе.

И вот, в такой ситуации непрекращающегося семейного конфликта в их жизни появился музыкант Трухачевский. «Вот он-то с своей музыкой был причиной всего», — сразу заявляет Позднышев, назначая еще одного виновника своего поступка. Вообще, хочется отметить, что на протяжении всего остального рассказа видно очень много противоречий по поводу того, ревновал он жену или нет, убил из ревности или нет. То он говорит, что общение его жены с этим Трухачевским не имело для него никакого значения, то потом говорит, что присутствие этого человека мучило его. «От меня зависит, — думал я, — сделать так, чтобы никогда не видать его». Но сделать так — значило признать, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унизительно, говорил я себе». Эти противоречия говорят нам о том, что за ревностью стояло и нечто другое, что Позднышев не хочет признавать. Ведь, скорее всего, даже не саму свою жену он боялся потерять, а им двигали самолюбие, гордыня и эгоизм, как мне видится. А также то, что он знал о том, что его жена несчастлива с ним, как и он сам несчастен в их семейных отношениях, а потому очень велика опасность, что она может искать отдушину (душевный отдых) в других отношениях. Но так как делать с этим общим семейным несчастьем он решительно ничего не хотел, ему оставалось только искать повода для реального столкновения с женой в возникновении этих опасных отношений. Пустота, которая царила в отношениях Позднышева и его жены, как и во всей его жизни, раньше выливалась в конфликтах на незначительной почве, по «высосанным из пальца» поводам, как мы уже увидели. Теперь же у него появлялась конкретная, весомая причина для того, чтобы развернуть этот внутренний конфликт. Причем он снова не осознает этого: «Странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить». Т.е. он не понимает, что это была за сила. Он видит ее внешней по отношению к себе и тем самым не осознает, что он своими собственными действиями создал эту ситуацию опасных отношений между его женой и этим музыкантом. Это снова уловка самообмана, которая позволяет Позднышеву не раскаиваться, а по-прежнему искать виноватых в своем преступлении.

При этом Позднышев утверждает, что он «читал в его (Трухачевского) душе, как по написанному» замыслы обольщения его жены, все, что он думает о ней и т.д. Для него не возникает сомнения в том, что они замышляли прелюбодеяние. Из чего он делает такой вывод? Из взглядов, выражения лиц, улыбок и т.д. С одной стороны, он меряет других по себе, так как признается, что и сам был таков до женитьбы, а с другой стороны, со свойственной ему гордыней и самонадеянностью он наперед знает, что они замышляют. Эта порожденная самолюбием уверенность застилает ему глаза, так что он видит происходящее в строго определенном свете: «Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня».

Позднышев рассказывает о том, что он сознательно разжигал в себе злобу, так как думал, что это испугает жену. И он не противился, а даже радовался своему гневу. И даже когда он решился убить ее, это не было спонтанной реакцией обманутого мужа, тем более, что он даже и не заставал жену, что называется, «на месте преступления». Это было осознанным решением: «Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала»; «Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен и радовался этому». И когда Позднышев ударил жену в грудь ножом, то понял, что именно это он и хотел и должен был сделать. После этого он пошел в свой кабинет и лег спать, как будто с «чувством выполненного долга». Когда он проснулся, ему какое-то время казалось, что это было во сне. Он хотел покончить с собой, но не стал этого делать. Его позвали к умирающей жене, и он поначалу решил, что она хочет покаяться. Но потом: «Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека». Как он сам говорит, осознавать то, что он сделал, он стал на третий день, когда был на ее похоронах. Вспоминая это, он заплакал, что единственный раз за весь его рассказ о себе может свидетельствовать о настоящей искренности чувств.

Позднышев утверждает, что пока он сидел в тюрьме одиннадцать месяцев в ожидании суда, с ним произошел нравственный переворот. Как мы поняли из всего его рассказа, он заключается в понимании, что всему виной развращенное общество, проповедующее всякого рода невоздержанность, в котором они жили. От этого общества Позднышев и решил уехать на юг (не на пустое место, однако, у него там домик и сад), бросив

собственных детей и избавившись от своего состояния. Т.е. осознание вины настолько тяжело для него, что ему «легче» создать теории, обвинить общество, музыканта Трухачевского и саму свою жену, а где-то даже и детей, с появлением которых стало еще тяжелее, чтобы только не увидеть, как он сам создал ситуацию семейной драмы и избрал из него выход в виде убийства.

Кстати говоря, любая признанная вина жаждет искупления, а у него нет этой жажды — нет ее ни в его словах, ни в поступках. Назначение всех этих теорий, размышлений и т.д. — скрыть от самого себя настоящее положение вещей, чтобы своей вины не признавать.

Таково мое видение произведения Толстого «Крейцерова соната». Для меня в этом произведении детали сходятся воедино — они описывают суть истории. А она именно в том, по моему мнению, что нераскаянный убийца готов выстроить целую социальную теорию, утверждать произошедший с ним будто бы нравственный переворот, когда он понял некую правду о современном обществе, и все это для того, чтобы обвинить в своем поступке кого угодно, только не самого себя. Иными словами, для меня это история самообмана, история о том, как он закручивается в человеческой душе. Как под его влиянием рождаются теории, размышления, убеждения, которые человек всячески защищает, пропагандирует, под которые он подбирает факты, и которые при этом выполняют роль «дымовой завесы». Причем, самообман строится так, что не только сам человек не может распознать его за этими своими важными теориями, но и со стороны его не так легко увидеть. Т.е., как мне видится, выдвигая на передний план свои теоретические построения, где полуправда перемешивается с обманом, человек отвлекает ими своего собеседника от сути, и тот уже сам теряется в них и не видит того, что за ними скрывается. И встает вопрос: а нужна ли самому человеку эта правда? Самообман — это больше чем попытка обмануть окружающих, уверить их в своей правоте, чтобы они не вскрыли этот самообман; это ложь человека самому себе. До определенного момента каждый человек защищает свой самообман, придавая ему при этом силу.

Теперь обратимся к герою «Падения» Камю. Так же, как и у Толстого в «Крейцеровой сонате», в этом произведении мы можем запутаться в теоретических построениях героя, в тонких играх его ума. При том что их назначение — поставить «дымовую завесу» над определенными деяниями героя, как мне видится. Для того чтобы этот обман и самообман раскрыть, мы не должны быть слишком легковерными, внимательно прислушиваясь не только к тому, что говорит о себе главный герой, но и к ходу рассказа в целом. Мое видение произведения Камю «Падение» также заключается в том, что это история тонкого самообмана, хотя и совсем другого рода, чем у Позднышева.

Главный герой «Падения» — весьма успешный в прошлом адвокат Жан Батист Кламанс. Произведение представляет собой, как и «Крейцерова соната», рассказ героя о своей жизни. Но разговор Жана Батиста с неким человеком обращен на самом деле к читателю. И вот он рассказывает нам свою историю, начиная с того, что был он много лет назад очень успешным, известным и уважаемым парижским адвокатом. Счастливчик, баловень судьбы, любимец всех вокруг — таким его считали окружающие, и он сам признавал, что жил полнокровной и вполне счастливой жизнью. «Жизнь очень уж баловала меня, и я, стыдно признаться, мнил себя избранником, чье особое предназначение — долгий и неизменный успех», — рассказывает он. Так он жил долго, пока однажды вечером с ним случилось одно странное происшествие. Возвращаясь вечером домой, довольный прожитым днем и самим собой, проходя по мосту, он вдруг услышал за своей спиной непонятно откуда доносившийся смех. Как бы ниоткуда, разве только из воды. «Заметьте, пожалуйста, в этом смехе не было ничего таинственного — такой славный, естественный, почти дружеский смех, который все ставит на свои места». Этот странный случай мог бы остаться и вовсе непримечательным, но он весьма взволновал Жана Батиста, и после него он вдруг стал делать разные открытия для себя, обнаруживая то, чего он раньше совсем не замечал. Он рассказывает: «Жить стало невесело: когда какая-нибудь болезнь подтачивает тело, сердце томит тоска». После этого он стал понемногу понимать: то, что он думал о себе до этого, не выдерживает испытание действительностью. На деле получается, что он не такой уж сильный, не такой уж разумный, не такой уж великодушный, как он привык думать о себе. Он понемногу начинал встречаться с самим собой, каков он был на самом деле, и его жизнь уже переставала быть такой счастливой, легкой и поверхностной, какой была прежде. И вот, года через три после того странного случая, когда ему показался смех за спиной, он ноябрьской ночью возвращался домой от своей любовницы и увидел, как на мосту одиноко стоит девушка. Он прошел мимо и прошел уже метров пятьдесят, как вдруг услышал за собой звук падающего в воду тела, а потом крик, который повторялся и спускался вниз по течению. «Я хотел побежать и не мог пошевелиться. Я весь дрожал от холода и волнения. Я говорил себе: «Надо скорее, скорее» — и чувствовал, как непреодолимая слабость сковала меня». Когда все затихло, Жан Батист постоял немного и двинулся дальше, никому не сообщив о происшествии. Он несколько дней не

читал газет и ничего не пытался узнать о судьбе неизвестной девушки. Но после этого случая в душе его и в жизни все очень переменилось. «Почувствовал ли я отвращение к себе? Нисколько! Отвращение я почувствовал к другим. Конечно, я знал свои прегрешения и сожалел о своих слабостях и, однако ж, по-прежнему с похвальным упорством забывал их. Зато суд над другими людьми непрестанно шел в моем сердце». Все вокруг, вся его жизнь стала казаться Жану Батисту простой игрой, то забавной, то скучной, но все равно игрой. Он продолжал играть свою роль какое-то время, но потом он постепенно стал выходить из своей роли, а именно делать вещи, которых никто от него не ожидал: «Я хотел разломать красивый манекен, каким я повсюду выступал, и показать всем, чем набито его нутро». Он сам перестал себя уважать, был зол, недоверчив и насмешлив. На несколько месяцев Жан Батист погрузился в разврат, когда алкоголь и женщины приносили ему некоторое облегчение. «Я жил в каком-то тумане, в котором смех, преследовавший меня, звучал так глухо, что я в конце концов даже и не слышал его». Но потом здоровье стало его подводить, и ему пришлось вести более размеренный образ жизни, но равнодушие в его душе все ширилось и делало его все более бесчувственным. Но вот однажды он отправился со своей подружкой в морское путешествие. Они плыли в открытом море на верхней палубе, как вдруг он увидел вдали на поверхности моря черную точку. «Я сразу отвел глаза, сердце у меня забилось. Когда я снова заставил себя посмотреть в ту сторону, черная точка куда-то исчезла. Но я вновь увидел ее и готов был закричать, позвать на помощь. Однако оказалось, что это просто обломок ящика, какие пароходы оставляют за собой. И все же мне нестерпимо было смотреть на него, мне все казалось, что это утопленник». В этот момент Жан Батист понял, что он не исцелился от своей боли, что от того крика, раздавшегося на Сене много лет назад, ему невозможно никуда деться, и что везде, где бы он ни находился и куда бы ни убежал, везде окажется перед ним его горечь. Он пришел к выводу, что «надо покориться и признать себя виновным». В этот момент наш герой перестал прятаться от своей вины, от своей боли за эту вину, перестал заниматься самообманом в том смысле, что ничего этого нет и жизнь по-прежнему легка и прекрасна. Да, Жан Батист понял, что жизнь не легка и не прекрасна, что сделано — то сделано, и эта вина будет вечно его преследовать. Но это признание скорее похоже на исполнение ритуала под названием «признание вины» — за этим признанием ничего не следует. Он как будто говорит: «Да, вот такой я плохой...», но этим все и заканчивается, причем далее он строит целую игру, которая прикрывает это ложное покаяние.

Какой путь избрал для себя Жан Батист после своего «осознания»? Он называет себя «судьей на покаянии». Что это значит? Как и уже знакомый нам Позднышев, он построил любопытную теорию — очень длинную цепочку размышлений о том, как устроено человеческое общество, где все судят друг друга, где никак невозможно жить без рабства, где никогда не бывает такого, чтобы хотя бы один человек был ни в чем не

виновен, где люди для наказания друг друга изобретают страшнейшие приспособления... И в этом мире всеобщей жестокости Жан Батист отвел себе благородное место судьи на покаянии. Он избирает в портовом кафе человека, знакомится с ним и исповедуется перед ним, как только что исповедался перед нами. Он кается, рассказывая о себе так, как это близко для многих, обличая общие для многих черты таким образом, чтобы собеседник мог узнать в Жане Батисте самого себя. И когда тот, обличенный, начинает сам раскаиваться, этот судья на покаянии приступает к осуждению. «Я, разумеется, такой же, как они, мы варимся в одном котле. У меня, однако, то преимущество, что я это знаю, и это дает мне право говорить, не стесняясь». Смысл в том, чтобы начать с покаяния, а кончить осуждением. «Я исповедуюсь в своих грехах, и благодаря этому мне легче все начинать сызнова и наслаждаться вдвойне — во-первых, угождая своей натуре, а во-вторых, познавая прелесть раскаяния». Такую изощренную игру наш герой и ведет в кафе «Мехико-Сити», попутно работая юрисконсультом у местных нарушителей закона. Так, он припрятал у себя в комнате знаменитую картину, украденную местным налетчиком, «Неподкупные судьи» — тоже весьма примечательная характеристика. «Я при помощи этой махинации, — говорит Жан Батист, — возвышаюсь над толпой невежд. Для всеобщего обозрения и восхищения выставлена подделка, а подлинник-то у меня спрятан!» Зачем-то Жан-Батист об этом рассказывает первому встречному и продолжает выдавать «отвлекающие маневры», «ложные ходы». Возникает впечатление, что он за ними прячется, хотя никто за ним не гонится. Испытывает ли этот судья на покаянии собственно покаяние в подлинном смысле? Как и в случае с убийцей жены Позднышевым, раскаяние которого не влекло за собой жажды искупления, у Жана Батиста мы также не наблюдаем этого порыва, котором обычно сопровождается настоящее принятие своей вины. По сути, он продолжает вести игру — поменялось лишь ее обличие, изменились правила, но не суть. Смысл в том, чтобы «все себе позволять, но время от времени вопиять о своей подлости». Он как будто говорит: «Да, вот какой я плохой, но ведь не я один! Все такие, все наше общество!» Игра, приукрашенная теориями и хитросплетениями размышлений и философии, нужна лишь затем, чтобы прикрыть нераскаянность, непризнание до конца своей вины и нежелание что-либо менять в корне своей души, в самой сути своей жизни. Жан Батист не избегает уже осуждения, он избегает принятия необходимости перемен.

«Осознанность — наше все!» — эту фразу мне не раз приходилось слышать от психологов. Осознавал ли наш герой свою вину, свою игру, свою недошедшесть до подлинного покаяния?.. Думаю, да! Он говорит: «Порой, но очень редко, в какую-нибудь прекрасную, поистине прекрасную ночь, я слышу отдаленный смех, и вновь меня охватывает сомнение. Но я живо опомнюсь, обрушу на все живое и на весь мир бремя моего собственного уродства и опять становлюсь молодцом». Бремя вины, бремя его осознания самого себя настолько тяжело, что он бежит в эту игру, как в последнее

пристанище, видя в ней единственное свое спасение. Он осознает, но продолжает играть. Осознанность здесь — еще не все. Осознаю, но осознавать не хочу. Вижу, но стараюсь не видеть. Бегу, потому что мне так легче. Осознаю, но ничего не меняю.

Жан Батист Кламанс — человек неверующий. Причем это даже не религиозное неверие, а какое-то фатальное, безнадежное. Причем, он знает, в чем бы он мог найти свое спасение, свое утешение. Чувствует, но как будто не верит. Или не хочет верить? Или за неверием и безнадегой скрывается судьбоносный выбор, который он делает — не действовать, чтобы что-то менять. «Но когда тебе опротивела твоя жизнь, когда знаешь, что надо жить по-другому, выбора у тебя нет, не правда ли? Что сделать, чтобы стать другим? Невозможно это. Надо бы уйти от своего «я», забыть о себе ради кого-нибудь, хотя бы раз, только один раз. Но как это сделать?» Вот так эта игра в судью на покаянии скрывает за собой невозможность для Жана Батиста что-то менять. Она как ширма, за которым его вина, замешательство, неверие, нежелание и... еще, может быть, гордость и самолюбие, с которыми не хочется расставаться.

Да, хитрые лабиринты выстраивает иногда человек в своей душе, чтобы уйти от самого себя. И Позднышев, и Жан Батист Кламанс создали для себя теории порочного устройства общества, чтобы прикрыть ими свою вину и свою нераскаянность. Они, как «дымовые завесы», призваны не дать собеседнику увидеть реальное положение вещей в их душах. Увидев на примере этих героев, как самообман живет и действует в душе человека, мы можем попытаться обнаружить собственные самообманы.

Но главный вопрос заключается в том, нужна ли нам правда о самих себе.